

Николай БОЛДЫРЕВ

МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ

1

Я помню себя вероятно с полугода или еще раньше. Я лежу на спине в люльке, в этой маленькой деревянной кровати, и смотрю вверх и вижу сплошные волшебнo-цветные полосы-нити-потоки, струящиеся как тихие ручьи во всех направлениях и составляющие для меня «весь мир». Помню своё тело, ощущение своего тельца, которое еще не могло самостоятельно перевернуться; это своё удивление, что я (?) не могу сдвинуть моё я.

Второе яркое и отчетливо воспоминание – когда я уже вижу мир в «общепринятых» формах. Воспоминание странное: я двух- или трехлетний (или около того) сбегая от взрослых на чердак сарайчика на краю нашего огорода неподалеку от шестого барака. Вероятно, я взбираюсь по лесенке. Лето, жарко. Чердак, похожий на сеновал, открыт с двух сторон. И я оказываюсь там не один, а с каким-то моим дружкой-сверстником. И мы, совершенно голые, барахтаемся там и играем, то скачем как козлята, то падаем и лежим в бессмысленном глазенье в небо с текущими легкими-легкими облаками, пребывая в каком-то полном отрешении от мира и от жизни там внизу. Мы сами по себе. Мы одни в целом мире. Мы космичны как древние греки, мы еще не умеем говорить членораздельно, мы вероятно издаем какие несложные речевые рулады и трели, но они всецело в масштабах тихой смотрящей на нас природы – огородов и речки. А потом мы к этой речке спускаемся, она мелкая-мелкая, и мы барахтаемся уже в ней, часто замираем и лежим в тихом потоке, упираясь о дно ручками и ножками. Человеческая сома и словесность еще совершенно нас не затронули.

Дальше – обрыв. Этот мальчик исчезает из моей памяти, равно как и опыты подобного «древнегреческого» бытия. Да и что было там, на чердаке, пропахшем сеном и смолой на пропёкшихся солнцем досках? Мы были козлятами, отпущенными мамкой на прогулку. И все же не только это. Странно, что затем наступил какой-то кусок эонного времени, когда в меня вошли все табу разом, и я потерял раскованность, но этого процесса (или скачка) я не помню. Вероятно табу были вложены в меня сразу всей массой, так что затем я уже был совсем другим мальчишкой. Мы сложены из разных времен.

Да, жизнь в бараке и события около барака. Странно, но никакого ярого желания описывать свои воспоминания я не испытываю. Зачем? Для кого? Мне скоро уходить, и я унесу их с собою, а «мировой орел» с-читает их и без меня. Неужели, будь я значимой, знаменитой персоной, у меня явилось бы страстное желание описывать события своей жизни? Такова сила тщеславия и иллюзии «бессмертия эго»? Последнее, что я читал в этом жанре, кажется, воспоминания Симоны де Бовуар и Сартра, и думал как раз об этом: откуда этот наивный перечислительный раж? Вы что – волшебные существа, говорящие олени, внеземные оракулы, явившиеся на нашу планету преподать нам уроки и потому каждый эпизод вашей жизни – упоение мудрости и мудростью?

Иное дело, когда воспоминания вплавлены в какой-то «само-познающий» сюжет как у Льва Толстого в трилогии или у Марселя Пруста или Андрея Битова в «Выборе натуры», где они обладают лирической проникновенностью и становятся внезапным для самого автора проникновением в «тайники» прожитого сознания. Происходит вскрытие запертых сундуков с позабытыми сокровищами...

Волшебство художественного зрения конечно не купишь и не займешь. Вот и остаются нищим и беднякам придуманные сюжеты и все иные балаганы цирковых заманок.

И вот я сижу в кресле главного редактора крупного регионального издательства и подписываю в печать очередную книгу. Мой стол завален редакторской правкой и корректурой. Отдельной стопой рукописи. Там и самотек, и заказные тексты, и переводы, частью вычитанные редакторами, частью попавшие сразу ко мне на стол. Кое-что я делаю непосредственно в компьютере, который не люблю. В свободное от срочных дел время продолжаю изучать еще весьма сыроватую рукопись местного поэта – биографию Лермонтова. Рукопись объемна, хаотична, автор каждую неделю приносит мне ворох новых «вставок и дополнений» – главок и подглавок, эссеистических эланов и огромных сносок. На его стиль явно повлиял Розанов. И мы подолгу беседуем, и я уже с головой втянут в оппонирование его смутным «прозрениям». Мне любопытна сама эта идея – опровергнуть паточно-сусальный образ «неотмирного странника и изгнанника». Любопытно и то, что автор «нападающей» биографии – поэт (и неплохой), любящий стихи уроженца Тарханов. И вот он нападает, в сущности, на самого себя, на свое ремесло, где жизнь почти всецело освящаема и оправдываема вдохновением. Осознает ли он это?

И в самом деле, а чем оправдываться нам сирым, к кому вдохновение не является, к кому оно не просится? Чем нам оправдываться перед «обществом» и перед Богом? Значит, мы обязаны прожить жизнь паиньками, скромными, кроткими овечками? И ни вопросов Иова, Кьеркегора, Шестова, ни воплей, ни экспериментов ни в одной из сфер? Парадоксальным образом наш поэт встал (невольно, конечно) на нашу сторону, на сторону «обывателя», «честного, порядочного человека». Не посмеется ли критика над такой биографией гения, если я ее издам, да еще со своим предисловием? «Новый мир» возможно-таки сообщит с постмодернистской усмешкой о «провинциальном казусе»... Впрочем, мнение «Нового мира» меня никогда не интересовало, как и мнение иных наших журналов, к поэзии не имеющих никакого отношения. Они ошибались неизменно даже в вопросах экономики.

Меня тревожит другое. Как мне дать понять моему нестандартному автору, что, отстраняясь от Лермонтова, пытаюсь сохранить два плана: «объективное» описание его жизни, а рядом свои «смелые» и «личные» комментарии, он так никогда и не уловит центра – ни в Лермонтове, ни в себе. Лишь страстно и одновременно растворенно проникая в существо судьбы поэта, он смог бы что-то дать читателю. Только если бы биография Лермонтова явила бы ему откровение о нем самом, о биографе. Ох уж эта пресловутая вневнаходимость! Напротив, надо находиться внутри! Иначе – пустотный разрыв между Лермонтовым и мной, писателем и читателем. Какой смысл читать биографию Лермонтова, если он – не я? Ведь я и он – одно: тат твам аси.

И вот он входит своим летящим аллюром, высокий, гибкий; голубые глаза, зоркий лоб, крупный нос с чуть-чуть горбинкой, густая русая борода с легкой проседью. Внешность идеально контрастная к лермонтовской. Ему чуть за сорок, уже не возраст *героя нашего времени*, да и опыт. Впрочем, в том-то и штука, что, по его же словам, опыт у Лермонтова был несоизмерим с его возрастом. Да, эта «штука» серьезна. Говорил же маг племени яки, что есть порода людей (назовем их белыми магами), способных за несколько часов или дней пережить больше, чем обычный человек за долгую жизнь.

На этот раз разговор у нас зашел о художественном опьянении, о той особой ауре, в которой предположительно плывет поэт и которая делает его неадекватным всем окружающим ожиданиям.

– Я вижу, Иван Георгиевич, вы в целую главу вывели историю с пакетом старика Мартынова. Пакет сыну через Лермонтова. Пожалуй, что это действительно главный эпизод в разгадке тайны дуэли, эпизод, стыдливо опускаемый биографами.

– Они дают его мельком, хотя это ключик не только к дуэли, необъяснимо кровавой, но ко всему характеру той игры, в которую «Мишель» превратил свою жизнь. Главное, что это доказанный факт: Лермонтов вскрыл пакет, доверенный ему стариком Мартыновым (хотя никаким возрастным «стариком» он конечно не был), вместе с посылкой и дневниками дочерей Мартынова и сестер Николая, в том числе и той, за которой «волочился», пытаясь обольстить, используя как всегда весь арсенал своих средств и прежде всего красноречие. По любым временам (а тем более по тем) похищение писем и личного дневника – это подлость и потеря чести. И вот Лерма начинает врать, выкручиваться, ибо на его несчастье в пакете оказались, к его изумлению, триста рублей. То есть он попался. История про будто бы напавших на него по дороге абреков, отобравших пакеты и посылки, настолько наивна, что никто из Мартыновых в нее, конечно, не поверил.

– Но никто вероятно в открытую ни слова упрека ему не сказал?

– Разумеется. Но я думаю, в пору бесконечных ядовитых на публике нападок Лерма на Мартынова терпение последнего лопнуло именно поэтому: «как он смеет после этой бессовестной кражи продолжать весело гаерствовать, строя из себя безгрешного ангела и оракула? Еще бы не оракул, прочитавший чужие дневники и теперь смеющийся над нашими диалогами». Вот эта «беспредельность цинизма» и поразила Мартынова, прежде всегда смиренно прощавшего насмешки и шутки товарища. Я уверен, что Мартынов вдруг понял причину этой беспредельной шутовской назойливости Лермонтова, направленной всегда на более слабого: комплекс неполноценности.

– Даже так?

– А как вы иначе объясните эту неуёмную жажду корнета, прапорщика, а затем и поручика доказывать всем и на каждом шагу, что он – самый-самый? Самый крутой, как сказали бы сегодня. Согласитесь, это странно для человека, ощущающего в себе философическую искру, чувствующего свою бытийную полновесность, свою связь с неким центром Всего. Зачем такому человеку доказывать каждому встречному, что он что-то значит, что он умнее и остроумнее каждого из них? Что он самый успешный «альфа-самец»? К чему эти пошлейшие «победы», доказывающие только одно: что он раб своего низшего эго, что он озабочен «мнениями света» и более ничем? Зачем гению выстраивать образ своей мещанской победительности? Зачем гению всё время рваться на сцену и играть там роли?

– Но вы ведь однажды произнесли поразившую меня формулу: поэтическое опьяненье...

– Да, тема возможная, я не против ее ввести, но сейчас еще пару слов вдогонку Карлу Юнгу. Собственно, ведь это сама судьба подстерегла Михаила Юрьевича. Старик Мартынов вложил в запечатанный пакет триста рублей, не сказав об этом никому. К Лермонтову, кстати, в аристократическом доме Мартыновых относились как к сыну. И вот поэт, не зная, что о деньгах отец никому не сказал, вручает Николаю триста рублей, объясняя, что большой пакет абреки украли, а этот чудом сохранился. Но отчего же тогда он вскрыт?.. Тут, разумеется, не надо было быть Шерлоком Холмсом. Отношение всей семьи Мартыновых к Лерма резко переменялось; прежде всего и главным образом внутреннее отношение, конечно же. Лермонтовское шутовство стало являть сатанический оттенок. Это угрожало не только Николаю, но и его сестре; и прежде всего ей.

– Встает вопрос: дозволено ли гениальному поэту быть бесчестным человеком? Пушкинское «гений и злодейство»...

– Сотни примеров, что совместны, тем более что гениальность трактуют, кто как хочет. Сам же Пушкин это объяснил в своем «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»

– Ну да, ну да. Аполлон, Вакх, Дионис... Допустим, Аполлон. А если Вакх-Дионис? Или Люцифер? Духи ведь бывают разные, а значит, и вдохновения идут из разных источников.

– То-то и оно. Комплекс неполноценности – это ведь глубинная штука, почти кармического статуса. У Лерма это можно назвать и комплексом сверхполноценности. Зачем бытийно зрелому существу бесноваться, становясь рабом чувства собственной значимости? Бытийно зрелый спокоен и молчалив, ему не важно и не нужно и не хочется никому ничего доказывать. Жажду первенствовать он давно оставил позади себя. Именно благодаря этой свободе он может наблюдать за бытием как-оно-есть. И это измерение мудреца и настоящего художника...

– Странная меня вдруг пронзила мысль: не значит ли в этом случае, что все, кто объят жаждой самоутверждения, то есть почти все знаменитости во всех областях... Не значит ли это, что все они столь могуче активны именно благодаря комплексу неполноценности или, как вы говорите, комплексу сверхполноценности?

– А что тут странного? Так оно и есть; я правда об этом не задумывался, но сейчас вижу, что это так. Возьмите хоть Ницше с его «волей-к-власти». Да он ведь карикатурно прыгал вверх, чтобы казаться выше. Разве дело в его сексуальной несостоятельности? И разве дело в том, что живопись Шикльгрубера не была оценена? И разве дело в сломанной когда-то ноге Лермонтова и в его невыигрышной внешности? Ведь он с рождения был почти избыточно (почти как Байрон) наделен материальными и нематериальными благами, преимуществами перед весьма многими. Так что исток комплекса неполноценности – вещь глубиннейшая, это растерянность донного уровня, это если хотите обморок свободы...

– Да, обморок, это здорово, обморок от избытка свободы, я где-то уже читал об этом, кажется у Сёрен... Обьеvшись свободой, субъект может забыть, как в обмороке, нечто бытийно-центральное, забыть центр своего Долга, индийцы бы сказали – дхармы... Меланхолия Печорина показана Лермонтовым как необъяснимая тоска, как непреодолимая невозможность обрести цель и смысл.

– Кстати, в те же самые годы Сёрен, которого вы помянули, объяснил исток такого рода меланхолии. С одной стороны – пресыщенность «мирскими яствами» (Мишель был избалован бабушкой), с другой – бессмысленность избранного стиля жизни, названного Сёреном «чувственно-эстетической стадией». Это когда человек, как правило художественно одаренный, хватается за наслаждения минуты со всей страстью. И чем более он эстетически одарен (случай Лермонтова), тем глубже яма, в которую он влезает. Из этой ямы хорошо видны звезды.

– М-да. Это весьма шикарная идея: все преуспевшие люди (почти все или более скромно: многие) действуют из своего комплекса неполноценности. То есть бытийной неполноценности.

– Да, идея шикарная. – Иван Георгиевич (вероятно, все кроме меня называли его просто Иваном) откинулся в кресло поглубже, попросил разрешения закурить. – Но она ведь и прекрасный прожектор. К тому же предельно объективный и правдивый. Ну кто из зрелых монад полезет доказывать свое превосходство над ближним?

– Вы совершенно правы. Мне вспоминаются даже не святые, а просто дурачки-простачки, или даосы, или крестьяне-оратаи. Кто мог бы их втянуть в соревновательность? Я, например, всегда ощущал, признаюсь вам, что всякая власть не от Бога. Даже малейшая власть одного человека над другим. Даже самая кратковременная. И всякая воля-к-власти – не от Бога.

– Не знаю, не думал, возможно, что так. Но *если*, тогда: вот вам и демонизм...

– Но тогда, послушайте, Иван Георгиевич, вам придется еще изрядно попотеть над книгой, сделать ее философскую канву рельефно-смелой, не извиняющейся. В каком контексте вы созерцаете жизнь героя и в каких терминах? Одно дело – в терминах и в измерении «светской жизни» того времени (внутри словаря воспоминаний о поэте), другое дело – в терминах жизни «вечного человека», того человека, которым Лермонтов-отшельник мечтал стать. То есть дайте нам возможность увидеть эту жизнь и в качестве хаотически-цельной, то есть текучей, минута за минутой, и одновременно некой стоячей,

вертикально-вечной, увиденной извне уже не демоном, но ангелом, мыслящим, если хотите, универсально-религиозно: из мистических потрохов. В этом измерении я вижу поэта как бы перед стеной, за которой – Упанишады и хохочущий Чжуан-цзы и танцующий Кришна и непостижимо неграмотный Хуэй-нэн.

– Ну зачем так далеко и так экзотично? Есть ведь и наш Серафим, и наш Сергей, и опыт жизни Пушкина, и Иоанн Лествичник, и Четьи-минеи в конце концов...

– Но вы меня поняли. Если вы хотите своей книгой выстрелить, то чтобы уж слышали даже глухие. А без Упанишад и Гаутамы они вас не услышат.

– Но не хотите же вы, чтобы я задумывался о княгине Марье Алексевне?

– Избави бог.

– А попотеть – да. Да ведь я схитрил и принес вам тогда не сам роман, а по существу лишь его эскиз несмотря на три с половиной сотни набранных страниц. Вот ведь и словцо вырвалось – роман, хотя речь-то шла о биографии в серию.

– Возможно, и так: биографический роман. Ведь роман и есть попытка абсолютно свободного письма. Только вот – от кого к кому? Если бы это понять...

Мы долго молчали. Потом я угощал поэта кофе с коньяком. Мы созерцали бунинские осенние липы и «цветаевский» рябиновый куст в окне моего кабинета.

– Но что же делать с «художественным опьянением»? – спросил я, вспомнив начало нашей нынешней встречи.

– Давайте до другого раза?! – улыбнулся Иван Георгиевич, изящнейшим разворотом фигуры встав и подав мне руку, на которой сияло какое-то весьма таинственное кольцо. Впрочем, подумал я, сейчас на многих мужских пальцах видишь какие-то на вид очень древние кольца и перстни.

2

Из дневника тех дней.

«Состоятельный духовно человек не полезет на петушиную навозную кучу. Полезет лишь несостоятельный. Вот почему культура несостоятельна, духовно беспочвенна, эфемерна. Её пафос, и шум, и блеск всего лишь фейерверк блефа и актерских поз. Музыкальная шкатулка для пригостишек. Почему мы так много уделяем ей внимания и времени жизни? По духовной слабости. Мы импотенты, и тем *большие*, чем яростнее рвемся в сексуальные короли. Воистину сублимация. Один лишь Розанов осмелился учуять-унюхать сакрально-вещный смысл соития. Поймал точку рождения духовного семени.

Каким образом Лермонтовым были рождены полтора-два десятка живых духовных монад в пространстве букв и звуков – вот действительно тайна. Сумеет ли мой Иван её разгадать? Боюсь, что ему это не по зубам. Он славный малый, но все же пребывает в клетке ментальных шаблонов. Да, эти шаблоны порой тонки и изящны, но все же они не дают ему совершить прыжок за пределы клетки. Тот прыжок, который иногда совершают гениальные поэты в сфере чисто языковых интуиций. Его романная биография в идеале могла бы стать поэтическим текстом почти в смыслах йенцев или гессевской поздней прозы, однако у него нет необходимой раскованности, способности выйти за пределы себя самого, себе известного... Он слишком хорошо себе известен. Так ему кажется... Впрочем, возможно вообще никто не в состоянии понять, каким образом у прозорливого, беспредельно самодовольного «нищанца» Лерма рождались серафические строфы. Ведь это оставалось загадкой и для Льва Николаевича в его дружбе с Фетом; Толстой не мог понять, откуда этот почти сверхъестественно тонкий лиризм в тучном деятельно-деловитом помещике, прошедшем воинскую немалую канитель. Рациональная скрупулезность в делах, румянец щек и глубокое понимание Шопенгауэра, равно и Упанишад. Но ведь этому же феномену дивился и великий этик Альберт в своем любимце Бахе. Почти сверхъестественно прямое чувство потустороннего и одновременно:

деятельный, любящий вкусно поесть бургер, выворачивавший уши нерадивым ученикам и плодивший детей. Две ли души? Или две половины? Совместность двух душ, двух измерений.

Если у Пушкина всё ясно: «пока не требует поэта...», он – пошлый малый, суетный и даже порочный. Но «лишь божественный глагол...» Но ведь Бах писал шедевры почти безостановочно. Да и Толстой, поэт в прозе, не мог иметь пауз прострации, сочиняя «Войну и мир» или «Анну Каренину». Но ведь он в это же время был всерьез погружен в дела и в хозяйство, и в семейно-родовую сутолоку. А когда случилось чудо второго рождения, освобождение и вход в новое пространство в себе, то обнаружил, что «энергия заблуждения» оставила его, огонь потух, соблазн исчез. Да, но возгорелся иной огонь!..

Так будет ли безупречно гармоничное, гениально сбалансированное существо писать стихи, захочет ли этого его душа? Не есть ли сами стихи пламя от трения, от некоего таинственного душевного конфликта, от бури, где борются демоны с ангелами? Зачем просветленному устремляться к свету и жаловаться на мрак, если он в центре света? Да и как нам, омраченным, воспринять полноту чистого свечения? Возможно, эта полнота свершается рядом с нами, но мы ее не видим и не чуем...»

«Да разве же стихи святого человека будут кому-нибудь интересны? Какого-нибудь Серафима Саровского или Шри Раманы? Да что там может быть кроме вполне незатейливой молитвы? Да ведь даже псалмы Давида так возлюблены христианами не оттого ли, что был Давид немалым грешником и просил Бога помочь выбраться из внутренних своих хлябей...»

«И все же Лермонтов – почти лабораторно чистая загадка. В этом прозорливом, вечно хохочущем, острящем и балагурящем плечистом хлопце, а затем почти карикатурном гусаре, не было ни грана серафичности. Жесткая, если не сказать больше, временами мстительная, четко планирующая свое «светское восхождение» натура; выставляющая на всеобщее обозрение всякое свое дарование, всякий элемент силы. Прямо-таки теряющий жизненный интерес и аппетит, если он не “на сцене”. Воистину задумаешься о корне поэтического нерва: не детище ли он человека играющего, то есть человека сценического, изнывающего по публике и достигающего в “кривлянье” немалых высот...»

«Принято поэтов считать певцами любви. Но кто из русских поэтов любил, исключая Жуковского, Алексея Толстого, Тютчева, Блока? Остальные влюблялись или играли в любовь. Чем была любовь для Лермонтова? Бешенством самоутверждения. Мне скажут о двух ранних любовях – десяти и двенадцати лет. Охотно допускаю. Но и я в первый раз поцеловал (мы целовались!) девочку-ровесницу у нас в прихожей посреди толпы висевших шуб (гости), когда мне было лет пять. А уже «настоящее» чувство во всей полноте мистических мерцаний пережил во втором-третьем классах, и этот образ жил во мне до класса седьмого (зима), когда я уже влюбился всерьез и на всю длительность внутреннего дыхания. Почему, собственно, об этом моем чувстве никто никогда не узнал, включая сам предмет. Любовь ничего не требует, ни к чему не принуждает. Она ждет, заметит ли её Она – внутреннее существо той, кого ты полюбил. И если этого ничем не спровоцированного, не «организованного» отклика не происходит, она смиренно наблюдает, печально, но без надрыва, ибо понимает, что каждая душа – цельная монада со своим тайным солнцем и планетам вокруг. А искусственно сориентированное внимание лишь опозорит тебя в твоих собственных глазах...

Недостаток страстности? Да нет, не в этом суть, совсем-совсем не в этом направлении. Меня поразила одна цитата в книге Ивана, из воспоминаний одного художника, общавшегося с мальчиком Мишей Л. Он пишет о контрасте глаз Миши: чарующее впечатление, когда кто-то был ему симпатичен, но «во время вспышки гнева они бывали ужасны». И далее: «В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе, как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком...» Уже в детстве ему

нравилось тиранить, отдавать приказы более слабым физически сверстникам. То же самое насилие мы видим в «любобной истории» с семнадцатилетней Екатериной Сушковой: почти шестнадцатилетний Мишель ведет беззастенчивую осаду, назойливо и грубо прямолинейно требуя её любви в ответ на своё якобы великое чувство, демонстрируя стихи по этому поводу. (Как он представлял эту любовь? Сексуальный акт изнасилования?) Рисуетя настоящая пародия на якобы влюбленного бурсака, прилипчивого и наглого. Да при всех тайных симпатиях (коли бы они были) нормальная девушка не могла бы не отшить сие животное. Сушкова же нежно, но твердо увещевает Мишеля, насмешничая и зубоскаля, насколько хватает сил. И все это открыто и искренне. Но что же происходит в душе юного поэта? Он затаивает “смертельную обиду” и готовит жестокое мщение, реализованное холодно и планомерно спустя четыре года. И это плод любви? Побойтесь Бога, господа лермонтоведы!..»

«Есть струны, совершенно непонятные. Вспоминаешь-вспоминаешь, пытаешься найти какую-нибудь отчетливость в сюжете своего то ли влечения, то ли отталкивания, то ли могущей зародиться и где-то вдалеке мерцающей любви, то ли интригующего чувства неизвестности, ощущаемой в чужой душе, но неведомой и самой владелице этой неизвестности. Это как-то мерцало в последних двух классах, я даже провожал её несколько раз до дому (что было против моих правил) в разговорах о прочитанных книгах, ибо мы в классе были двумя книголюбями. И вот оно как-то умолкло, ибо её интересовало (я это почувствовал почти с болью) лишь содержание обсуждаемых книг, а моя чувственно-мистическая структура, которой и был собственно я (так я воспринимал всех людей) не замечалась, словно рядом с ней плыл туман или некая абстрактная конструкция, «вообще человек». А ведь я был несомненно хорош: лучший ученик, редактор школьной стенгазеты, не самого малого роста, защищавший честь школы в разных видах легкой атлетики и т.д. И поскольку я всему этому не придавал никакого значения, то и она могла не придавать этому значения и, значит, мы могли бы обратить внимание на что-то иное друг в друге. Однако я был для нее туманом, «облаком в штанах». И ей совсем не хотелось приоткрыться, поведать свою тайну, которую я в ней ощущал. Разумеется, я её ни о чем внутреннем не спрашивал, я лишь знал, что она растет без отца и что ее мать – экономист. Но ее внешность была столь аристократически-экзотична, что конечно же предполагался сюжет, как же это ее мать оказалась в этом северном уральском городке.

Но и случайная встреча в областном центре, когда она уже училась в политехническом, а я на филфаке университета, мало что дала. Я зашел в домик, который они с матерью снимали рядом с музеем Бажова, померялись ростом, и я снова почувствовал, что она не ощущает во мне мужчину, обладающего своей тайной, какой бы она махонькой ни была. Я оставался абстрактным одноклассником, студентом. Мне хотелось ее изучать, раскрыть как старинный том. Но я выпил чашку чая и ушел в свое общежитие.

Фатум ли в этом или сущность характера, за которым цельная философия? Неужели людей может связывать только сексуальное влечение, которое никогда конечно не дает возможности чистого познания друг друга...»

«Мне было интересно, что она видит, когда смотрит на тот или иной предмет, думает ли она что-то при этом. Мне был интересен сам характер ее высказываний, сами интонации, хотя бы в них не было ничего семантически необычного. Все же в них что-то было, меня интригующее. Мне была интересна сама основа её характера и скрытого от меня мировоззрения. Мне хотелось быть рядом с ней, быть неким почти экскерманом вне каких-либо записей.

Но как это осуществить? Ведь малейшая неестественность, а тем более назойливость, сооружение “посредствующих звеньев” вызвало бы во мне приступ тошноты. Никого я так не презирал, как породу приставучих юношей...»

«Конечно же, я не был в нее влюблен. Здесь было что-то иное. Возможно, меня интересовала чужая порода, некий принципиально иной взгляд на вещи, на природу и на человека, взгляд, который я подозревал и в себе, но не мог его “визуализировать”... Потом мы встретились на двадцатилетие школьного выпуска. Туда мы ехали в одном купе – она, я и еще два наших «мальчика», и ничего не было кроме светскости, словно бы я продолжал быть для нее абстракцией; но быть может и все другие люди были для нее абстракциями, некими туманными призраками? Вот мы вышли с вокзала, и нас встретили местные, разбились по парам, чтобы втиснуться в пешеходную дорожку. Мне хотелось идти с ней, но меня опередил Славка, наш хоккейный чемпион, высокий и чудаковатый блондин, неизменно говоривший парадоксами либо загадочно-хаотичными фразами. И вот я шел за ними, вслушиваясь в их оживленный, страшно мне интересный разговор, но мне мешала моя спутница Лида, с восьмого класса игравшая роль безнадежно в меня влюбленной. Она была мне так же неинтересна, как тени от деревьев, ибо помимо прочего я заранее знал все её вопросы и все возможные реплики. Помню мое изумление несовпадением всех этих ритмов, её нечувствованием меня; так что болтовня Славки, который не просто ее развлекал (был там какой-то внезапно вспыхнувший меж ними сюжет), оказывалась во сто крат важнее. Я определенно чувствовал, что диалог их, внешне абстрактный, был для них чрезвычайно важен, что у него есть скрытый таинственный план. К тому же и сам по себе их разговор было обменом парадоксальностями, тонкой пасовкой поэтических мячей. Вот-вот, думал я, в ней есть та поэтическая тайна, о которой она не знает, и вот сейчас Славка касается её и изымает её аромат...»

«Никакими приступами, настырностью и хитростями невозможно узнать в человеке его наинатурнейшее и значит подлинное. Даже электрон меняет свои свойства при наблюдении за ним. Вот почему познание другого фактически невозможно. И вот почему именно у даосов я нашел приют своему скитальчеству...

Посему же, кстати, все воспоминания о ком-то – шелуха, призрачная самонадеянность. Лишь проникнув в существо поэта одним прыжком (прыжком мистическим), ты сможешь более или менее настроить свои диоптрии, свой морской бинокль...»

«В московском благородном пансионе у Лермонтова было прозвище – лягушка. Мда... Один из однокашников объяснил это тем, что Лермонтов постоянно ко всем приставал, был неприятно прилипчив. Качество, не только не проходившее, но набиравшее обороты...»

3

В первые годы жизни я был слабо рационален, и тайны сплошь окружали меня. Полати были таинственнейшим пространством, бескрайним. Именно таким. Бывало, спал на чужих полатах, у дружка: они были еще таинственнее. Или игра в жёстку в коридоре барака. Что-то тюремно-ужасное было то ли в самой этой игре, то ли в этом занятии, то ли обряде, что-то жесткое и недосказанное. Зачем мы подбиваем ногой свинчатку с кожаной бахромной подкладкой? Очень слабый свет коридорный, искаженные лица. Кто мне эти люди? Или страдавшая за одной из дверей девушка, умиравшая от чахотки. Что-то страшное было в том, что её кормили сырым мясом лисицы, а потом положили в корыто с ледяной водой. Удивительно таинственно было наблюдать, сидя на травке, как твои сестры играют в волейбол на поляне возле железной дороги, играют вместе с другими парнями и девушками. Таинственно было происхождение самой игры, перебрасывание мяча. Почему мяч перебрасывают с таким азартом, а подчас и восторгом? Почему они так радостны и так отсутствуют в мире? Наверное, я не успею дорасти до участия, да и как я смогу бить по мячу, не зная, зачем я это делаю.

А как оттаивала весной завалинка, как прела и дымилась, и как светились сверху сосульки. Мое непонимание, что такое сосульки, было равно моей зачарованности их созерцанием.

Вот старшая на восемь лет сестра в который раз запирает меня в наших двух комнатах, чтобы снова идти играть во что-то там на солнечных лугах в компании сверстниц, а я плачу, упрашивая не закрывать меня на ключ, а выпустить, и вдруг в отчаянии, самого меня испугавшем, хватаю вилку со стола и делаю движение к нападению. Почему я, такой тихий, вдруг восстал, устав от этих незаслуженных затворов себя, которые и прежде бывали, но по воле родителей. И сестра испугалась, изумившись. И сдалась.

А однажды случилось счастье: я проснулся от шума воды, а, открыв глаза, увидел плавающую по квартире чуть ниже полога моей кровати мебель: столы и табуретки. Мой старший брат, фыркая, вынырнул из подпола с чем-то в руках, что-то пытаюсь спасти. Наша река ночью вышла из берегов. Последующие две недели мы катались на плотках по огромному пруду. Вскоре мы переехали в свой дом на более безопасное место неподалеку. Я тоже помогал отцу строить: доставал из болота мох.

Искусство как прием – так стали мыслить в двадцатом веке. Прием ли человеческая жизнь или нечто субстанциальное? Если прием, то чей-то. И с какой-то целью. А если нечто субстанциальное, то значит обладающее каким-то автономным смыслом и тайной. Но если таинственно всё?

Хочу ли я что-то вспомнить? Хочу ли я себя изобличить? В ошибках характера, в недостатке дерзости? Хочу ли беспочвенно скорбеть по утраченным, по упущенным возможностям? Порой кажется, что не могло родиться человека, который бы так легко и небрежно отказывался от подарков судьбы и так парадоксально охотно ввязывался в заведомо проигрышные и обременительные сюжеты. Но чем-то же я всегда руководствовался? Что-то же мною управляло и в отказах, и в приятиях? Что стояло за такой парадоксальностью? И надо ли сейчас выворачивать это знание в слова, если это знание в тебе совершилось? Ты ведь понял, в чем дело. Ты уловил важнейшие точки ошибок. В сущности, ошибок было две. И обе они связаны с тем, что ты солгал. В том первом случае ты солгал другу-семикласснику, солгал в пустяке, но это не дало тебе вырасти и уже далее в дружбе ты не был счастлив, эта крошечная ложь тебя давила, поток шел мимо. Ты отказался играть с ним в шахматы, потому что еще не умел, но признаться в этом оказалось выше твоих самодовольных сил. Ты оказался здесь подобным Мишелю. Во втором случае ты солгал себе, взяв в жены девушку, которую в сущности не любил. И дальше это привело к целой системе тупиков и искривленных путей; твоя жизнь превратилась в бег с барьерами по сильно пересеченной местности.

4

И вот мы снова сидим с Иваном Георгиевичем за моим редакторским столом. Наша сегодняшняя тема: поэтическое опьянение. Жизнью? Этот простой вопрос ставит нас в тупик. Как и чем опьянялся Лермонтов?

– Только не используйте в ваших «на полях» – метафор и символических фигур на тему Вакха-Диониса и прочего, я вас умоляю, Иван Георгиевич, не будем откатываться к Мережковскому.

– Что вы, что вы, зачем мне в романе плесень и мох?

– Но и постмодерн ведь не подойдет?

– Да ведь это что-то похожее... Лерма часто действовал как пьяный, вы правы. Но разве тот, кто пьянеет от запаха зреющего (или сжатого) поля, или от наблюдения за искрами костра, летящими к звездам, или от созерцания Эльбруса: вот он рядом и все же далеко, – разве не близок к богам и значит к осевой линии поэзии? Есть ведь еще глубина и острота этих опьянений (количество и качество «выпитого»), которые могут ведь

выстраиваться в некий единый поток, а он, в свою очередь, отрывает, в почти буквальном смысле, поэта от современников.

– Создавая еще один модус одиночества?

– Оторванности от плана познания и познаваемости. В этом сплошном потоке опьяненности поэт обнаруживает непознаваемость всего и вся. Абсолютную стену волнующего и возбуждающего Тумана.

– Я понимаю, что вы не философствуете, а говорите о Лермонтове.

– Разумеется.

– Ну хорошо, значит ли это, что ощущение и понимание бесконечной своей оторванности от всех центров пониманий и своего космического одиночества, добавлю: при одновременной сверхобычной остроте «чувства жизни», в почти физиологическом её варианте, – что всё это, в одновременности столкнувшись, высекает ту свободу, где, с одной стороны, пишутся пронзительно-наивно-мудрые стихи, а с другой – нечто в человеке Лерма побуждает выплескивать на окружающих олухов и простаков «пьяный кураж», некую раздраженно-обиженную на «жизнь» пену? Своего рода шлаки от невероятной плавки внутри сознания?

– Может быть и так, но я бы предпочел что-то более простое. То, что вы нарисовали, меня скорее запутывает; точнее: из этого я ничего зримо-сюжетного не выужу. Мне важно найти и ощутить момент, когда Лерма оказывается внутри высшего и чистейшего, когда нечто в него входит и он пишет стихи. Не роман, с романом всё проще.

– Да, недалеко же мы продвинулись.

– Ну а что мы знаем о себе? Когда стихи приходят, я их просто записываю. Я не могу их даже редактировать. Приходят они из некой моей суммы, мне неведомой, или просто из ниоткуда, то есть из ниоткуда меня самого?

– Вроде как из местности Нигде у Рильке? Но тогда мы просто дорожные стражи, анонимные хранители намёков, которые подают нам Эоны? И наши житейские качества, качества социальных насельников совершенно не интересуют Эонов. Лишь способность слышать и видеть эти намёки.

– Да, это сгодится. И тут вовсе не следует уточнять, намёки на что и зачем. Понятно, что на истину, в той мере и в той форме, в какой она нам доступна. Но говорить об этом не надо, ибо будет профанацией.

– Но ведь, в сущности, наш поэт просто жалуется на тоску бесконечности и оторванность от Потустороннего Рая? Разве не так?

– Вы хотите сказать, что Лерма не был в истине?..

– А вы как думаете? Ведь это-то и есть вопрос вопросов, разве не так?

– О, вы всаживаете мне нож под сердце. Мне нужен тайм-аут...

На этом мы в общем-то и закончили, но, прежде чем попрощаться, довольно долго сидели молча, задумчиво покуривая и попивая кофе с коньяком. Второго в наших чашках было явно больше.

5

Я знал, что мой автор придет с сообщением, что Лермонтов был разорван на две части, как большинство современных людей, как разорвана вся эпоха, но его разрыв был много мощнее и самоосознаннее, чем у любого среднего поэта, «чем у меня, едва способного учуять в себе эту расщелину». Так оно и случилось. Я был рад, что Иван Георгиевич поднялся до точки этого взрыва, неведомого большинству даже самых талантливых поэтов-словесников. Нас, собственно, и пленяет в Лермонтове эта сила заложенной в нем взрывчатки: он знал (нечто в нем знало), что он изгнан из Рая, и вот, ассоциировав свою участь с участью «печального демона, духа изгнания», «витающего над грешною землей», он пытался вспомнить мелодии и песни Рая, где прежде жил. «И лучших дней воспоминанья пред ним теснились толпой». Вот эта мощь меланхолии,

отнодъ не беспричинной и бессмысленной, и влекла к нему людей и отталкивала. Он весь был из этой сверхъестественной работы между яростным присутствием в здесь-и-сейчас и отсутствием: бытием в Там и в Тогда. И это была местность Нигде: райский сад первоначального бессмертного сознания.

Заглянуть в эту трещину «между мирами», в эту расщелину, казавшуюся порой бездной, никто не мог. Вот вам двойной оборот одиночества, абсолютного и полного, как только что набранный кувшин родниковой воды.

Удивительно было, как мирно и понимая друг друга почти с полуслова мы побеседовали с Иваном Георгиевичем в тот раз, спустя две недели после его «нож под сердце». А ведь я думал, что он так и останется Максимом Максимычем, только в интеллигентском варианте. Нет, Максим Максимыч – это конечно хорошо и даже замечательно, но он никогда не поймет и не понял бы Лерма, который был конечно же много сложнее Печорина.

Иван Георгиевич забрал свою рукопись и уехал в деревню, где у него был домик, доставшийся от родителей, а я предался воспоминаниям. «Лучших дней»? Как знать.

6

Из дневника тех дней.

Девятнадцатый век прошел под знаком Пушкина, двадцатый – Лермонтова. Но «бунт» М.Ю. был понят совершенно неверно. Бунт Л. абсолютно иррационален, это «воплъ из глубины» раскола в душе, одна половина которой изначально просветлена, другая – омрачена. Одна слушает ангельские хоры (которые сто лет спустя слушал Рильке), другая обуяна демоническими сарказмами и блистаниями (*блистания* вообще сфера демонов и асуров, о чем наши эстетики не подозревают). Он не знает, против кого его бунт, ему не ясна его «кармическая ситуация». Он изгнан с Неба и жаждет возвращенья. И в этом разрыве он ведет себя парадоксально и самоубийственно. Так вел себя (в смягченной форме) Тракль.

Социальная рутина? По касательной. Его томило одиночество, его бесила бессмысленность клоунады жизни, но он догадывался, что это его одиночество не предрешиено, что есть модус, в котором человек блаженно неодинок, блаженно причастен, присутствен при Бытии. Почему я разорван? – вот был его внутренний вопрос, для ответа на который ему было мало даже Кавказа и царицы Тамары.

В здоровом духе здоровое тело. Все афоризмы ложны, но в этом скрыта нота верного происхождения тщеты. Вот у Лермонтова: дух был расщеплен, и молния выстрела Мартынова расщепила тело.

И все же, хотя у Мартынова, возможно, и были веские основания считать Мишеля если не подлецом, то во всяком случае человеком непорядочным, он не должен был стрелять.

Хотя слышу голос со стороны: Мартынов не умел стрелять и потому стреляла судьба.

Да... Вот так... Что тут сказать. И то верно, и другое. А может быть есть и третье.

Проживать жизнь надо с Начала. И каждый раз, и каждый день.

А цветы... Вон они как растут, недолюбленные нами. Но без сентиментальностей, ибо в них мы, увы, возлюбляем свою похоть самости.

Трещины духа, не Духа, а нашего экзистенциального, набираются в сети морщин, куда уходит наша жизненная сила. И будь наш изначальный дух безупречен, мы бы никогда не заболели телесно и тем более смертельно. Дух – это болезнь к жизни.

Читаешь *тогда* что-то с интересом, когда герой проходит сквозь страдания. Но вот их качество и специфика – в этом всё дело.

Если бы я стал писать роман, то не пошел бы европейскими путями.

Не может быть, чтобы опыт умудрения безвозвратно тонул в Лете вместе со смертью тела. Это было бы и неэкономно с точки зрения Создателя, да и насмешкой было бы циничной над всей совокупной проделанной человеком работой: мышц, сердца, духа.

Зачем живет кошка, целую жизнь спящая на полке старого шкафа на открытом с двух сторон крыльце моего дачного домика? Она блаженно лежит на своих передних лапках, чуть глядя вдаль и чуть созерцая два розовых дерева в чистоте и тишине бытия. Зачем она живет?

Но Бог осуществляет свою любовь и в ней. Эта кошка – бог.

Так Тэдди экстатически наблюдал за сестренкой, переливавшей Бога из кувшина в стакан белой густой струей, а потом она пила этого Бога: вливала Его в себя.

А разве я не видел пятилетним, как мама вздымала Бога пенными струями в цибарке, когда доила корову в полутемном сарае ранним-ранним утром, когда я медленно спускался по лесенке с сеновала.

Кошка видит и слышит не то же, что и мы, я. Её связь с божеством иная: в каждой точке, в каждой точке текущего ручья-жизне-смерти.

Жизнь в безответной любви: внимательная-внимательная – вот смысл и путь к смыслу.

Уясняем ли мы что-то сверх того (и помимо того), что скрыто в словах и выразиимо посредством них? Разве понимание главного не скрыто в промежутках между словами и буквами, между звуками? В сущности, именно этого я и искал и в жизни, и в искусстве. И даже в философии.

И разве не о том же странные слова Витгенштейна, кажущиеся пустым парадоксом: «Мое творчество – это особенно то, чего я не написал». Пьер Адо трактует это как отсылку читателя к этике – основанию мудрости, которая по своему корневищу молчалива. Мне же кажется, что Витгенштейн отсылает нас к творчеству жизни, к труду, который не может быть зафиксирован буквами и строчками.

Еще в детстве я понял, что я с бедными (хотя мы жили богаче других). С раннего детства я испытывал отвращение к мясу; кажется, я нес в себе особое внимание к растениям, птичкам и жукам. Одиночество не казалось мне наказанием или тем более проклятием. Я не видел разницы между уединенностью и одиночеством. Одиночество давало мне тихость прикосновения к наиважнейшему. Я вслушивался в дыхание коровы, лежал часами в полях, превращался в жука, лежа к нему нос к носу, а он превращался в меня. Наблюдал в тишине пустого дома за поведением вещей в гостиной и особенно на полках кухни, для чего я должен бы затихнуть как вот эта вещь и перестать быть человеком. Или замирал, наблюдая, как бесконечно сыплются горошины из моей ладони, всё не достигая пола.

И хотя я был «социально успешным», я неизменно оставался одинок и именно поэтому счастлив. Со мной всегда были боги стихий, вещей, животных. Бог молока, бог корки хлеба и щепотки чая. Со мной всегда был Кто-то.

Какое же сознание было бы в центре моего романа? Ответ ясен, но суть в другом: каков сюжет такого сознания? Может ли оно в принципе обладать сюжетикой? Пластически-словесным материалом самодвижения в сущем, среди людей и вещей? Изобразим ли внутренний путь? Романы Гёте был романами воспитания, т.е. самовоспитания. Роман Лермонтова был поводом показать себе тщету своего пути, показать свой необъяснимо почему «путь в Никуда». То был, без сомнения, первый у нас всплеск и выплеск нигилизма. Вероятно, я тоже выбрал бы жанр дневника: там есть повод для изменения мизансцен сознания. Но в чем Восток? В постановке голоса и зрения героя. Роман должен быть (как и всегда от Пушкина до Битова) способом авторского самоуяснения. Но этого мало. И, разумеется, он не должен писаться «для читателя». Он должен оставаться в рукописи. (Идеальный вариант был у Гоголя, но он как раз испугался читателя.) Тогда адресат письма изменится. Не иначе. Изменится внутренний ритм и мелодика. Вместо служения эстетике придет служение этике: естественно, на иррациональном уровне. Дело не в мелодике: в перемене зрения и слуха: в Возвращении. Ибо это и есть единственный сюжет, достойный пота и бумаги.

Поэзия – это форма чего-то, что определить мы не в состоянии. Я верю, что были времена, когда почти все люди были поэтами. Нет, они не состязались в писании стихов и гимнов: они жили поэтически. Разумеется, представить себе такое общество мы не можем. Вспомнился калека Касснер: Рильке был поэтом даже когда просто мыл руки; он оставался бы поэтом, не написав ни одной строчки. Да, так-то оно так, но Рильке кормили и укрывали в своих *замках* европейские аристократы. А если бы таких рильке были миллионы?.. *Тогда и там*, конечно, был другой, неведомый нам уклад сознания и, следовательно, скромнейших материальных притязаний. Увы, нашему Лермонтову там нечего было бы делать: его постоянный мятеж проваливался бы в пустоту. Сказать ли об этом Ивану Георгиевичу?

7

Вероятно, каждый из нас зализывает свои раны тем или иным способом. Было утро мрачнее некуда: всё небо в тучах и второй день шел холодный дождь. Это в середине-то августа. И вдруг после паузы бездождья выглянуло солнышко и пошел ситечный дождичек как чья-то услада, и всё засверкало: и поле в маках и травах, и сад с шевелящимися от радости листиками груш и яблонь, и крыши домиков. Всё запело междумирной тишайшей баховой прелюдией. Сладостная переменчивость мира, столь пугавшая Соломона, и столь приманчивая для древних китайских даосов.

То была моя отпускная неделя, где я отдыхал от людей, вечно клубящихся возле прелюдий к печатным станкам.

Вспомнилось, как года три назад мне вдруг с невообразимой тоской захотелось (воистину приспичило!) увидеть мою школьную любовь, которую я не видел с самого нашего выпуска. Меня вдруг стала исподволь точить мысль, что она так и не узнает, что я был в нее влюблен и любил всю жизнь. Да и взглянуть захотелось, как она выглядит спустя тридцать семь лет, возраст Пушкина. Каким-то чудом узнал ее адрес от ее бывшей подруги. Отправился в столицу как дурак. Я знал только, что у нее трое детей.

Звоню в квартиру вспотевшей рукой. Дверь открывает живая и ни чуточки не изменившаяся Она, семнадцатилетняя и обольстительно женственная! Спрашивает, объясняю, проводит в гостиную. Большая красивая богатая квартира. «Мама с отцом на даче, вернутся через недельку». Боже ты мой! В голове у меня круженье. Красавица дочь – полное повторение моей возлюбленной из десятого-бэ. Той, на которую я боялся долго смотреть с близкого расстояния (я этого боялся, ибо не смог бы оторваться и тем выдал бы свою тайну). И вот я получил возможность смотреть на неё, сколько хочу. Мы сидим в

креслах вокруг круглого столика, и она угощает меня кофе с разными к нему приятностями. И себе тоже налила. Я почему-то вспоминаю кофейную кантату Баха.

Боже мой, я просидел в их квартире часа два-три, не меньше, мы разговорились вначале осторожно, а потом неистово, я был в ударе и явно заинтриговал ее красноречием, да что там: я заново влюбился, только на этот раз фактически не скрывал не только своей симпатии, но всей силы моей очарованности этим воплощением парящей женственности. Конечно, она постепенно-постепенно всё поняла, поняла, кем мне внутренне приходится её мать, и кажется она даже под конец поняла, что я заново влюблен и чуть ли не готов сделать предложение. И возможно, я так бы и поступил, не будь я наполовину сед и согбен печальным опытом. Пусть и не настолько печальным, как у Лермонтова.

«Нет, я не смогу её дождаться, через пару дней я уезжаю из Москвы. Передайте ей мои приветы!.. Разрешите обнять и поцеловать вас на прощанье, представим, что вы – это она...» Так мы и сделали. Но прикоснувшись губами к ее губам, я через несколько мгновений забыл, что обнимаю дочь, а не её саму, мою Гретхен. Я ушел в другое время всецело. Мы целовались как безумные. Что было дальше, я не хочу и не могу описывать. Я возместил утраченное сторицей. Я ушел из этого благословенного дома-квартиры с каким-то напрочь измененным сознанием, словно это был уже не я, а некто, мне не очень знакомый, некий призрак-странник во времени.

Да, я был потрясен всем случившимся, а потом еще долго пытался это осознать: и с позиций дневного рассудка, и с позиций сновиденного моего двойника. «Вот тебе и двоемирие, – шептал мне один из этих голосов, – вот тебе и расщелина между мирами, между адом и раем».

8

Иван Георгиевич исчез столь наглухо, что я о нем забыл. Но через два года он вышел со мной на связь. Мы встретились в одной из городских кофеен. Над книгой о Лермонтове он не работал. Но он написал роман. Небольшой. Он показал мне папку с распечаткой компьютерного набора. Мы толковали о том-сем, я его ни о чем не спрашивал.

– Вы правы, Лермонтов или я – разве это не одно и то же существо? По сути, по гамбургскому счету, даже если допустить, что Васин-Макаров прав, называя его богом. Ведь Иисус говорил убогим рыбакам: все вы сыны Божьи. Но, по этой причине или по другой, мне о нем нечего сказать, в его оболочку мне не войти. Я понял, что в глубине души я к нему равнодушен, я имею в виду эту его оболочку. А биографию пришлось бы дописывать-переписывать именно-таки про оболочку. Так зачем дурачить читателя? И если во мне есть какой-нибудь пыл-жар к исследованию своей судьбы (она есть, по большому тоже счету, и судьба Лермонтова), то вот тебе бумага, седи и обнажай свои истоки. Все пишут о следствиях. Но разве они интересны? Поле, заросшее сорняками, да к тому же заблеванное. Нет, в тысячу раз интереснее истоки. Вот об этом мой роман...

Конечно, в самом конце, когда мы уже встали и начали прощаться, он открыл свою сумку и подал мне папку со своей рукописью. А куда ж ему было деваться, бедолаге.

Не удержавшись, я в ближайшем скверике сел на скамейку и открыл папку. Начинался роман с фрагмента под названием «Вместо эпиграфа»:

«Удивительная погода, вечер, днем немного подтаяло, но сейчас морозно, воздух кристально чистый и гулкий. Небо темно-синее и своей гулкостью ощутимо до звезд. Кажется, что действие происходит в высокогорной обсерватории. Мы едем к вокзалу на троллейбусе. Водитель – ее старая знакомая. На перроне.

– Тебе не кажется всё это нереальным? Посмотри, как пуст перрон, и мы идем. Вдруг скоро выяснится, что всё это нам приснилось?

– Поезд уйдет в небытие...

– А вдруг поезд в самом деле попадет в крушение. Может, мама недаром беспокоилась, что со мной нет документа...

Посмеивается, но где-то на четверть серьезна.

– Как быстротечна жизнь. Лет через двадцать-тридцать ничего этого не будет (она обвела взглядом панораму сверкающих синью и светом современных зданий вокзала, гостиницы).

– Как это – всего?

– Ну, нас не будет... Так *стоит* ли отравлять горечью, мелким волнением столь краткое бытие? Наверное, правы те умные люди, которые стремятся каждую минуту наполнить радостью и потому порою впадают в легкомыслие...

– ...

– Разве ты не чувствуешь, что жизнь проходит?

– Как это?

– Что она перешагнула через кульминационный пункт, и сейчас наступило начало ее конца, завершения? Разве не чувствуешь?

– Нет, мне так не кажется.

– Мне тебя жаль... Я последние год-полтора прямо физически чувствую, как жизнь уходит – стремительно и необвратно. Нельзя ее терять.

– ...

– С первого дня работай, много... Соблазнов столько всяких – придется сдерживать себя вначале...

– Главные соблазны совпадают с тем, что необходимо.

– Обзаводись новыми привычками...

Он причастился, как всегда после встреч и разговоров с нею. То главное и светлое в нем по мановению волшебной палочки, которой она владела, проступало в душе незаметно, но явственно, как изображение на фотобумаге. И какое-то время он ясно видел дали прошлого и будущего, резкую, будоражащую четкость настоящего. Ясность и свежесть воздуха проникли в его душу. И он продолжил с ней мысленный диалог, где говорил ей много добрых слов, сочувствовал и не понимал, почему она, совершенство, не полюбила до сих пор страстно и до конца, почему нет ей такой удачи.

В случае с собой он вполне это понимал: не успел стать настоящим. А может быть, это он был ей предназначен, но не узнал ее, потому что пришел к месту встречи не тем, кем было нужно. Будь я таков, каким мог быть или стать, я бы полюбил ее с первого взгляда – почему бы нет, – думал он. Он ехал в троллейбусе, шел пешком, и ему казалось, что, в общем, ему есть что сказать людям, и он постарается это сказать. Он вспомнил ее слова о необходимости действия – раннего, немедленного, пусть неудачного. Душевное движение должно закрепляться, разрешаться в действии, а не сгнивать в душе, в сомнениях и колебаниях. Пусть ты бездарность, но попытайся выразить себя, это усилие сделает тебе честь.

В троллейбусе подвыпивший мужик шутил, пытался веселиться. Он подумал, что прежде он чаще всего либо осуждал мысленно таких раскованных, либо настораживался (вдруг тот что-то сделает не так), либо насмешничал над такими типами. А сейчас он увидел мужика ее глазами – добрыми, понимающими, сочувствующими: мужику не хотелось упускать ни это мгновение, ни этот вечер, которые вот-вот исчезнут, ему хотелось радости, он где-то в глубинах своего существа чуял и понимал, что жизнь как метеор кратка и готова погаснуть каждый момент.

И он почувствовал, что благодарен ей за эту поддержку, за помощь в продлении в нем этого ощущения жизни, времени, предназначения, которого в любом случае не может не быть».

Что было потом? Роман я прочел. Но это другая история. Я и не предполагал, что у этого человека столь мудрено драматичная (особенно во внутренних анналах) личная тропа. Куда там Лермонтову. Разве они с Байроном нюхали нашего пост-русского пороуху?

Разве Байрону с Лермонтовым снилась «Роза мира» поэта Даниила Андреева? Что против нее «Божественная комедия» Данте? Роман Ивана Георгиевича нес в себе эти ритмы.

Но, к моему удивлению, разговоров о публикации он не заводил. Просто однажды забрал у меня папку. После этого мы больше не встречались. Да и то сказать – зачем? Свободная даль романа осуществилась.

Июнь 2025